

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга выходит в свет к 75-летию юбилею философского факультета Московского университета имени М. В. Ломоносова. Философский факультет возник с самого начала основания университета в 1755 году. Но его судьба была не слишком счастлива, существование факультета постоянно прерывалось. Поэтому реальной датой возникновения факультета считается его воссоздание 25 декабря 1941 года в Ашхабаде, куда был эвакуирован университет на время войны. Здесь были основаны на базе МИФЛИ кафедра и факультет философии, которые существуют и по настоящее время.

Однако написание этой книги было продиктовано не столько счастливым событием юбилея. Этому способствовали и другие события в отечественной философии. Начиная с нового XXI столетия в России появилась обильная мемуарная литература о философах и философских учреждениях. Возникла настоятельная потребность осмыслить и оценить роль философии в советский период существования нашей страны. Можно сослаться на десяток книг, изданных в это время. Большой вклад в изучение философского наследия внес Б. В. Бирюков, издавший три чрезвычайно информативных тома под общим заголовком «Трудные времена философии» (2006, 2008, 2009). Содержательная и аналитическая книга принадлежит Н. В. Мотрошиловой — «Отечественная философия 50–80 годов XX века и западная мысль» (М., 2012, 2-е издание в 2016). Один из старейших преподавателей философского факультета В. В. Соколов издал прекрасную книгу «Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России. Воспоминания и мысли запоздалого современника» (М., 2014). Изданы также воспоминания о выдающихся философах середины XX в.: В. Ф. Асмусе, А. Ф. Лосеве, Э. В. Ильенкове, А. С. Зиновьеве, М. К. Мамардашвили. Замечательное документальное издание подготовил коллектив авторов во главе с Еленой Иллеш «Эвальд Ильенков, Валентин Коровиков. Страсти по тезисам о предмете философии. 1954–55». (М., 2016). Под редакцией В. А. Лекторского опубликованы 22 тома «Философия России второй половины XX века».

Среди этой литературы надо выделить две монументальные книги: «Философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова: страницы истории» (Издательство МГУ, 2011) и «Наш философский дом. К 80-летию Института философии РАН» (Прогресс-Традиция, 2009). Это содержательные и значительные книги. В первой описывается история философского факультета и рассказывается обо всех его деканах, во второй повествуется об истории Института философии и биографиях всех его директоров. Иными словами, в этих трудах рассказывается о руководителях, точнее сказать, генералах философского фронта. Но, как известно, войны выигрывают генералы, но в окопах воюют солдаты. Отдавая должное двум этим книгам, приходится констатировать, что в них еще не прозвучал голос студенчества, тех, кто учился и преподавал на философском факультете в те времена, когда в философии произошли коренные перемены. Следует сказать, что в середине прошлого века именно студенты поддержали те революционные процессы, которые происходили на факультете и привели к крушению догматической марксистско-ленинской идеологии. Поэтому цель настоящей книги — дать возможность рассказать о философском факультете не только тем, кто им руководил, но и тем, кто на нем учился.

Главный акцент в данной книге делается на период 50–60-х гг. прошлого столетия, когда в условиях начинавшейся перестройки произошел резкий поворот от традиционного марксизма-ленинизма к новому философскому мышлению. В послевоенный период на факультет пришли многие участники войны, они побывали в других странах и познакомились с традициями европейской культуры, от которой СССР был оторван в течение многих десятилетий. Смерть И. В. Сталина и начинавшаяся оттепель стимулировали новый интерес к западной философии и пересмотр традиций отечественной философской мысли. Старшее поколение, пришедшее с фронта, поддержала молодая генерация студентов, которые попали на философский факультет прямо из школы. Это было замечательное время, время творческих открытий, свободных дискуссий, общения студентов с молодыми преподавателями. На факультете начали работать тематические кружки, издавался никем не цензурированный журнал научного студенческого общества (НСО), в котором печатались работы студентов, рецензии на книги, философские новости, в частности переписка с венгерским философом Георгом Лукачем и т. д.

Во главе революционного, по сути дела, преобразования философии встали два молодых преподавателя, оба бывшие фронтовики: Эвальд Ильенков и Александр Зиновьев. Оба они выступили в одно и то же время, оба исследовали одну и ту же проблематику, основанную на изучении методологических проблем в «Капитале» Маркса. Как справедливо пишет В. А. Лекторский, «оглядываясь назад, я особенно ясно представляю себе революционную роль для нашей философии того, что Ильенков и Зиновьев сделали в середине и второй половине 50-х гг. Дело не только в том, что они были родоначальниками интересных школ в определенной области философии. Их идеи и программы означали принципиальный рубеж, новую точку отсчета в развитии нашей философии в целом. Так же, как делим немецкую философию на докантовскую и послекантовскую, а русскую литературу на допушкинскую и догоголевскую и послепушкинскую и послегоголевскую, так же мы можем делить советскую философию послевоенного времени на доильенковскую и дозиновьевскую и послеильенковскую и послезиновьевскую. Работы Ильенкова и Зиновьева означали создание совершенно новой ситуации в нашей философии, задание новой проблематики. Это было как бы открытием нового мира. И новых, по-настоящему философских методов исследования. Те, кто работал в нашей философии после них, сколь далеко ни расходились их идеи между собой и сколь сильно бы они ни отходили в некоторых пунктах от идей своих учителей, были бы невозможны без Ильенкова и Зиновьева»¹.

Мы, студенты философского факультета, воспринимали Ильенкова и Зиновьева как двух равноправных и равнозначных по авторитету и знаниям учителей. На факультете не было никакой борьбы между «ильенковцами» или «зиновьевцами». Эта борьба появилась, по-видимому, гораздо позже, когда стали спорить, кому принадлежит право первенства в решении методологических проблем, кто оказался наиболее влиятельным в философской среде и т. д.

На мой взгляд, каждый внес свой адекватный вклад в постановку и решение абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. Некоторые считают, что Зиновьев раньше, чем Ильенков, подошел к этой проблеме, и поэтому ему принадлежит пальма первенства. Но если

¹ Беседы с В. А. Лекторским // Митрохин Л. Мои философские собеседники. М., 2005. С. 339.

говорить о силе и широте влияния, то, несомненно, Ильенков оказал большее влияние на молодых последователей, поскольку как преподаватель он был ближе к массе студентов, чем Зиновьев. Оба они решали одну проблему, но подходили к ней с разных сторон. Впрочем, А. Зиновьев сам довольно четко определил разницу в этих подходах. Он говорил, что исходил прежде всего из логических принципов, чтобы «вычленил логическую структуру “Капитала”», а Ильенков подходил к проблеме с историко-философских позиций. Иными словами, один — как логик, другой — как философ. Конечно, при этом сказались и разница в темпераментах. Зиновьев выступал как борец, как воин, атакующий банальность и догматичность, Ильенков был учителем, наставником¹.

Впервые к преподаванию на философском факультете были допущены философы старой школы, получившие образование в дореволюционное время. Среди них следует выделить Алексея Федоровича Лосева и Валентина Фердинандовича Асмуса. Правда, Лосев пробыл на факультете всего несколько месяцев и затем был уволен за преподавание идеализма. Ему пришлось заниматься классической филологией и преподавать античную литературу. Возвращение Лосева в философию произошло только после того, как сотрудники «Философской энциклопедии» привлекли его к написанию статей на философские темы. До этого большинство молодых студентов-философов долгое время даже не знали имени и работ Лосева.

В. Ф. Асмус преподавал на факультете около десяти лет, пока он не перешел в Институт философии, поэтому общение с ним и воспоминания о нем были более частыми. Некоторые студенты посещали его московскую квартиру и его загородный дом в Переделкино. Похороны Асмуса стали событием исторического масштаба, о них вспоминают так же, как вспоминают похороны Бориса Пастернака, на которых Асмус выступил с прощальной речью. Сегодня творческое наследие Асмуса издается и переиздается. В 2015 г. издательство

¹ Отношения Зиновьева и Ильенкова напоминают отношения другой пары выдающихся мыслителей, которые встречались и дискутировали между собой в Кембридже: Людвиг Витгенштейн и Карл Поппер. Один исходил из логики языка, другой — из логики философского мышления, отраженной в истории философии. Антиномичность их методологии отражена в книге английских авторов Дэвида Эдмондса и Джона Фейдиноу «Философская когеренция» (рус. пер. 2004).

URSS с помощью и при поддержке сыновей Асмуса опубликовало семь томов собрания сочинений философа.

Философское наследие, накопленное в стенах философского факультета, нуждается не только в собирании, но и в защите. Сегодня становятся модными нападки на 60-е гг. Так, политолог А. С. Ципко, который сам, как ни странно, окончил философский факультет, где прилежно изучал марксизм, в сегодняшних экономических и идеологических трудностях обвиняет интеллигенцию, в частности философов того времени. В статье «Перестроить страну по китайскому пути нам помешала интеллигенция» он, обвиняя Горбачева, пишет: «Будущий генсек оказался в одной компании с друзьями Раисы Максимовны — Левадой, Грушиным, Мамардашвили. Они жили на Стромынке, и бывший комбайнер Горбачев приходил к ним, сидел и слушал этих философов-диссидентов, рассуждающих о возможности построить “социализм с человеческим лицом”¹. По мнению этого политолога, нужно было строить не «человеческое общество», а пойти по китайскому пути, отказаться от перестройки и реформ, а заодно и от достижений современной философской мысли. Еще неизвестно, насколько могут быть прочны экономические и идеологические контакты с Китаем. Впрочем, каждому свое. Ципко не нравится «социализм с человеческим лицом», он предпочитает «капитализм с китайским лицом».

Настоящая книга ставит перед собой цель представить воспоминания тех, кто учился или преподавал на философском факультете в период реформ и революционных преобразований, чьи работы сегодня вошли в интеллектуальный фонд отечественной мысли. К сожалению, молодое поколение нашей страны уже забывает о том, какими трудами, интеллектуальными и моральными жертвами было достигнуто преодоление догматического марксизма-ленинизма, общение русской философии с мировой философской мыслью. Во главе этого движения стояли студенты и молодые преподаватели, которые подвергались незаслуженной критике, увольнению с факультета. Некоторые из них были отлучены не только от профессии, но и от Родины, как это было с Александром Зиновьевым, Валентином Коровиковым, Борисом Шрагиным и многими другими. Восстановить память о тех, кто открывал путь к свободе мышления в области философской мысли, — цель этой книги.

¹ Комсомольская правда. 2015. 7 мая. С. 8.

Необходимо предупредить читателя, что в настоящей книге печатаются работы разного жанра и стиля: исторические статьи, мемуарные очерки, интервью. Мы не стремились свести все работы к какому-то одному стилю, предоставляя авторам полную свободу выражения их взглядов и мнений. В чем-то они совпадают, в чем-то расходятся. Надеемся, что именно это разнообразие голосов вызовет интерес читателей к содержанию этой книги.

ИЗ ИСТОРИИ ФАКУЛЬТЕТА

В. В. Соколов

ФИЛОСОФСКИЕ СТРАДАНИЯ И ПРОСВЕТЛЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Я родился в разгар Гражданской войны в крестьянской семье и хорошо помню доколхозную, нэповскую и колхозную Русь. Я довольно поздно по нынешним временам научился читать (по молитвеннику моей матери). Стал, как тот Петрушка, читать всё, что попадалось под руку (к сожалению, очень мало книг тогда, в конце 20-х гг., можно было достать даже в нашем огромном селе). Это было время зарождавшегося движения пионеров, отношение к которым населения, почти поголовно посещавшего церковь, было враждебно-ироническим («пионеры юные, головы чугунные, руки оловянные, черти окаянные»). Я, мальчик довольно шустрый, стремившийся ко всему новому, стал неформальным лидером сельских пионеров. Активно помогал «избачу» (парторгу местной ячейки, присланному из губернии-области); играл с успехом на сельской клубной сцене в антицерковных агитках, от пионеров принял участие в «красных крестинах»: у одной девицы родился «нагульной» младенец, что было тогда на селе величайшим позором безотцовщины, и она согласилась на такие «крестины». Сначала держал речь парторг, потом он передал младенца комсомольцу, тот после каких-то слов вручил его мне, и я произнес: «Берем и клянемся воспитывать», а затем возвратил его парторгу, который провозгласил «красное» имя дитяти: Ким (Коммунистический интернационал молодежи). Через несколько месяцев я услышал, что мать его тайком всё же крестила в церкви, а в селе его стихийно «переименовали» в Акима. Помогал я парторгу и в других «прогрессивных» начинаниях. Когда в самом конце 1929 г. начались настойчивые призывы — с инициативным участием приезжих агитаторов — организовать большой колхоз и многие из мужиков яростно выступали против, я, по увещанию того же парторга, возглавил пионеров (и непионеров), и мы своим ревом заглушали «отсталых»

ораторов, чтобы они не смущали «передовых». А в марте 1930 г., после публикации «исторической» статьи И. В. Сталина «Головокружение от успехов», я с грустью наблюдал, как все, и «отсталые», и «передовые», уводили из конюшен своих лошадей, забирали сани, телеги и другую утварь. За какую-нибудь пару дней колхоз распался (заново и под усиленным давлением он был организован в меньших масштабах года через два).

Сомнений в правильности моих «передовых» настроений и мыслей у меня самого было мало, но их критики у мужиков, с которыми я любил беседовать, было сверхдостаточно. Помню также, как однажды приехавший из Москвы отец усмехнулся над моей богомольной матерью, сказавшей ему по какому-то поводу: «Что же, потвоему и Бога нет?!» На что он «аргументировал»: «Если бы он был, то коммунистов давно бы разогнал!» Возражать ему я не мог, а в душе очень удивился: «Какой отсталый!» (ему тогда не было и сорока).

Учился я, как говорил учитель нашей сельской четырехклассной школы моим родителям, очень хорошо, стремился учиться и дальше, но продолжать учебу в далеком районном центре не было возможности. Отец мой, деревенский кузнец и специалист в других направлениях, перебрался в Москву, и в согласии с матерью перебросили и меня туда — к дяде по матери. И я стал учеником ФЗС (фабрично-заводской семилетки). Отец, однако, погиб в 1931 г., и я проживал, обучаясь в той же школе, и у того же дяди, и у других родственников (по отцу), будучи полубеспризорным (в последних пребываниях добираться до школы было довольно далеко), хотя родные, простые рабочие, относились ко мне тепло. В школе я быстро стал одним из первых учеников.

В летние (иногда и в зимние) каникулы в те полуголодные времена я приезжал к матери (у нее оставался младший брат) в колхоз, помогая ей, как мог, увеличивать ее «трудодни» (в основном в управлении колхоза, как уже довольно грамотный субъект).

Но в школе у меня возникали всё более серьезные осложнения идеологического плана. Где-то в начале 8-го класса я взбунтовался против преподавания истории по обязательной тогда «Русской истории в самом сжатом очерке» — книге марксистско-вульгаризаторской. Ее автор — старый большевик, М. Н. Покровский, написавший ряд книг по истории России, одобренных Лениным, один из первых советских академиков и руководителей высшего образования в СССР (после его смерти в 1932 г. и до 1939 г. МГУ носил его имя), был

ярим приверженцем трактовки истории как политики, опрокинутой в прошлое. В этих теоретических тонкостях я тогда, конечно, не разбирался, но находился под сильным влиянием книги Александры Ишимовой, талантливо переложившей для детей фундаментальный труд Н. М. Карамзина «История государства Российского». (Пушкин высоко оценил книгу Ишимовой в своем преддуэльном письме к ней.) Отец, знавший о моем увлечении чтением, прислал из Москвы небольшой ящик книг, где была и эта. Я так ее изучил и освоил, что древо Рюриковичей, к удивлению соклассников, мог рисовать едва ли не наизусть. С таких «позиций» я и стал «громить» книгу Покровского, в которой исторические факты исчезали в экономико-политических схемах. Взбешенная Марья Ивановна, преподававшая нам историю, обвинила меня в «монархических влияниях» и за шиворот потащила к директору. Слава богу, мудрый Алексей Максимович, выдвигенец из рабочих, спустил всё на тормозах. Как ни странно, от моей «критики» Покровского я выиграл: через несколько месяцев, когда в 1934 г. были опубликованы замечания Сталина, Кирова, Жданова на какую-то книгу с критикой концепции Покровского и с рекомендацией (по сути приказом) восстановить в школах «гражданскую историю». Эти замечания по сути были кратковременной самокритикой большевизма, для которого трактовка истории всегда была догматической — политикой, опрокинутой в прошлое. Мне же такой поворот очень помог, и мой авторитет как ученика «с критическим умом» среди учителей повысился.

Однако в нашем воспитании политизация усиливалась с каждым годом, и следить за своими словами было необходимо не только на уроках истории, а этого мы, разумеется, делать не умели. В школе я оказался в одном классе с поэтом Павликом Коганом (он учился там с 1-го класса), и где-то уже в 9-м мы распевали его «Бригантину». Долгое время мы сидели с ним за одной партией. Он был из семейства старых большевиков, и вот где-то классе в 8-м на собрании нашей большой группы он был вынужден каяться «за переоценку Троцкого». В следующем классе проблемы начались у меня самого. Не очень ясно почему: то ли потому, что в своем Петрушине, куда я систематически наезжал, я видел, как плохо идет жизнь в колхозе, а мать всё время жаловалась мне в том же духе; то ли под влиянием Когана, имевшего основательную информацию о замечательном руководителе Бухарине, вывод которого из Политбюро лишь ухудшил экономическую ситуацию в голодающей стране; то ли потому, что и сам

я активно начал читать газеты и партийные документы и не стесняясь стал славить Бухарина. Это был 1935 г., когда Сталин уже безоговорочно стал четвертым классиком и смолкли все сомнения — мы живем в социализме. В том году у нас шел прием в комсомол, и под руководством Васи Ямпольцева, освобожденного секретаря комсомола, поставленного райкомом, меня начали активно «молотить» (хотя всё же были отдельные защитники) и в комсомол не приняли, но аттестат отличника (никаких медалей тогда не было) мне все же выдали.

Увлеченный историей, я поступил на исторический факультет Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ). Учрежденный в 1931 г. в составе исторического и филологического факультетов (к которым в 1934 г. был добавлен и литературный, а в 1939 г. еще и экономический), он был тогда лучшим гуманитарным учебным заведением в стране. В год 50-летия смерти Н. Г. Чернышевского институту было присвоено его имя. Я был зачислен после небольшой беседы с деканом исторического факультета И. С. Галкиным. Однако уже после войны при случайной встрече с нашей весьма эрудированной преподавательницей по литературе Любовью Петровной Жак (одновременно она была аспиранткой МИФЛИ и защищала там диссертацию) я узнал, что вдогонку мне из нашей школы поступило заявление, в котором я изобличился как бухаринец, которому либеральные учителя умудрились выдать аттестат отличника. Любовь Петровна, дав мне высокую характеристику, погасила это дело. Тем не менее меня вызвали в партком МИФЛИ, и один из секретарей настоятельно рекомендовал мне держать язык за зубами и всегда помнить, что я поступил в идеологический вуз. Я стал вести себя «правильно». Активный интерес к истории отодвигал политические интересы, хотя я, как и многие другие студенты, втягивался в агитационную работу (готовилась «Сталинская конституция») и, наконец, был принят в комсомол.

В МИФЛИ в эти годы читали содержательные (некоторые из них были и увлекательными) лекции и вели серьезные семинары профессора и преподаватели Ю. В. Готье, В. С. Сергеев, Н. А. Кун, Н. А. Машкин, В. К. Никольский, К. В. Базилевич, А. И. Неусыхин, С. Д. Сказкин, Б. Ф. Поршнев, Ф. В. Потемкин. Все они были с основательным дореволюционным образованием. В их семинарах у меня проявлялось стремление не только к рассмотрению данной темы, но и к сравнению реалий конкретной эпохи, которая обсуждалась, со сходными реалиями древней и средневековой истории, что вырабаты-

тывало общий взгляд на нее. Некоторые преподаватели не отвергали такого подхода, даже шли ему навстречу. Например, Юрий Владимирович Готье, ученик Ключевского, академик, широко образованный историк, специалист мирового уровня по истории Киевской и вообще феодальной Руси, иронически прищурился, даже вступал в дискуссии с невоспитанным наглецом, потому что, полагаю, чувствовал искреннее стремление к углубленному постижению истории. В семинаре известного историка античной культуры Н. А. Куна я сделал доклад (теперешняя курсовая) «Общественный строй древней Спарты», и Николай Альбертович похвалил меня. К сожалению, недавно открывшаяся тогда кафедра классической филологии совсем не вела у нас занятий по древнегреческому языку, а проводила лишь не очень интенсивные занятия латинским.

Три с лишним года я метался между историей России, которой я увлекся уже в сельской школе (а другую историю там просто не преподавали), античной, средневековой, новой. Остановился было на средневековой (А. И. Неусыхин, С. Д. Сказкин и др.). Здесь и произошел у меня перелом интеллектуальных интересов. Незаурядная эрудиция в области истории (как мне говорили сокурсники, да и некоторые преподаватели) пробудила во мне ту интуицию целостности, без которой нет философии (в принципе она «работает» во всех науках, но в разной степени и с разными результатами). Я стал задумываться о философском факультете.

Туда не было приема в 1936 и 1937 гг.: было арестовано большинство преподавателей факультета. Прием снова открылся в 1938 г., и семь студентов, окончивших два курса истфака, перешли туда: Арзаканян, Егидес, Карпов и др. Я же продолжал колебаться. Еще на первом курсе лекции по диамату-истмату содержательно и остроумно нам читал доцент Дмитрий Алексеевич Кутасов, будущий декан философского факультета. Они произвели на меня определенное впечатление. Я стал посещать некоторые семинары на философском факультете.

В мае 1939 г. я присутствовал на защите докторской диссертации Георгием Федоровичем Александровым. Он был тогда профессором философского факультета, читал лекции по истории философии, а в 1939 г. опубликовал на основе этих лекций книгу «История западноевропейской философии». Значительно позже я услышал, что некоторое время Г.Ф. общался в МИФЛИ с А. В. Кубицким, первым (по сути единственным) переводчиком «Метафизики» Аристотеля,

а также его «Категорий», и тот учил его древнегреческому языку. Вряд ли Александров далеко продвинулся в этом направлении, но написал диссертацию по мировоззрению Аристотеля в целом. Одним из его оппонентов был М. А. Дынник, занимавшийся тогда по совместительству античной философией. Однако в качестве неофициального оппонента выступил профессор Давид Юльевич Квитко, тоже читавший лекции по истории европейской философии в МИФЛИ. Он справедливо утверждал, что по такому гиганту, как Аристотель, защищать диссертацию «в целом» совершенно поверхностно и необидительно. Председатель совета (кажется тогда единственного в МИФЛИ) заведующий кафедрой истории ВКП(б) Б. М. Волин (студенческая частушка: «Как бы рад я был, доволен, если б Волин был уволен») провозгласил, что профессор Квитко, в отличие от диссертанта, совершенно не прав. Он, конечно, был проголосован и стал доктором философских наук. Едва ли не на следующий день в «Правде» появилась заметка об успешной защите докторской диссертации бывшим беспризорным (его отец, путиловский рабочий, к тому времени давно умер). Успех Александрова во многом определялся и тем, что после опустошения партийных и вообще гуманитарных кадров в 1937–1938 гг. Сталин был вынужден привлекать новые. Они в особенности были необходимы для партийного аппарата. Александров тоже перешел в аппарат Коминтерна, а затем и ЦК ВКП(б). Однако при всей формальности защиты Г. Ф. Александровым его докторской диссертации, первой по философии и первой публичной, в отличие от него Марк Борисович Митин без всякой защиты стал доктором философии за редактирование учебника по диалектическому материализму.

Нельзя в этом контексте не вспомнить о заслуге Александрова перед философским факультетом МИФЛИ. Со времени своего основания в 1931 г. он равнялся одной кафедре — диалектического и исторического материализма. Александров же учредил кафедру истории философии, которая до того изучалась как краткое введение в диалектизм-истмат. Но сам Александров, читавший курс истории философии как особый предмет, был переведен в сферы ЦК ВКП(б). Новую кафедру он передал Борису Степановичу Чернышеву, окончившему историко-филологический факультет по отделению философии в 1921 г. Но теперь ему пришлось вступить в партию.

Попытка моего перехода на философский факультет не сразу увенчалась успехом. Гуманитарные предметы на историческом и филологическом факультетах изучались основательно, и я их успешно

сдал. На философском гуманитарные предметы тоже изучались, но в меньшем объеме и не все. Зато здесь к ним прибавлялись предметы естественно-научного цикла: математика, физика, химия, биология, физиология органов чувств, психология. Ректор А. С. Карпова не решалась поэтому перевести меня на философский, но декан факультета Федор Игнатьевич Хасхачих, знавший меня по отзывам нескольких преподавателей, добился моего перевода в сентябре 1939 г., когда я закончил уже три курса истфака.

На философском факультете меня сразу привлекли лекции и в особенности содержательные семинары по античной философии Б. С. Чернышева. История философии и стала для меня главным приятательным центром, к чему стимулировала моя осведомленность в истории, теперь уже всеобщей. Все естественно-научные предметы я сдал с успехом. Приближался к пятому курсу, но тут меня постигла неожиданная катастрофа.

Еще на историческом факультете мне, запятнанному «разоблачительным» письмом из школы, всё же удалось вступить в комсомол. Во многом в результате смены руководства НКВД, когда в вахханалии арестов 1937–1938 гг. в «ежовые рукавицы» попало немало молодежи, произошел некоторый «откат». Многие юнцы связывали тогда «послабление» таких арестов с приходом к руководству НКВД Лаврентия Берию. В действительности никогда не ошибавшееся партийное руководство вспомнило «ленинскую позицию», которая провозглашала, что комсомол призван для воспитания молодежи, которая, конечно, может и ошибаться. Однако вспоминается, что на комсомольском собрании МИФЛИ, посвященном итогам XVIII съезда ВКП(б), в марте 1939 г. в клубе им. Русакова докладчику доценту Е. Городецкому послали много вопросов, почему «товарищ Ежов не избран членом ЦК партии». Недоумение многих объяснялось тем, что Ежов, перестав возглавлять НКВД, еще оставался Наркомом водного транспорта. Бедный докладчик отвечал всем вопрошавшим: «Значит, теперь товарищ Ежов не достоин столь высокого членства». Однако в кулуарах некоторые студенты старших курсов и аспиранты говорили: ну что ж, мавр сделал свое дело, мавр может уйти! Вскоре совсем тихо произошло освобождение Ежова с поста Наркомвода, как и его арест и последующий «суд» и расстрел, о чем стало известно лишь после XX съезда КПСС.

На новых для меня двух курсах философского факультета я встретил других «сокашников», и некоторые из них, например, П. Копнин,

В. Келле, Д. Горский, С. Анисимов, И. Нарский, Б. Мееровский, А. Гулыга, А. Зиновьев, Ф. Кессиди в послевоенное время стали значительными научными работниками, авторами, профессорами не только в философских кругах. Секретарем комсомольской организации всего МИФЛИ стал тоже мой сокурсник Семен Микулинский (поступил в институт кандидатом партии и стал здесь ее членом). Столь ответственная занятость оставляла ему мало времени для интенсивных занятий, он должен был писать в ЦК ВЛКСМ предложения о политическом воспитании студентов, формулируя свои идеи о способах его усиления. В этом контексте я неожиданно для себя, будучи уже на четвертом курсе, стал одним из наиболее трудных объектов для такого рода усилий.

Практическая дипломатия, особенно при резких ее поворотах и политическом их оправдании, — весьма опасный феномен с точки зрения воспитания молодежи. Именно такая ситуация возникла, когда за несколько дней произошел переворот в отношениях с фашистской Германией. Вчера ее поносили все средства СМИ, а сегодня в Москву приезжает Риббентроп и заключает договор о ненападении (23 августа 1939). И я совсем потерял внутренний контроль, когда практически через месяц (в сентябре 1939) с той же ненавистной фигурой был заключен даже договор о дружбе. Многие историки утверждают, что этот договор, в отличие от первого, был совершенно ошибочным, демобилизующим советский народ и армию. Партийное руководство принялось яростно его оправдывать. На сессии Верховного Совета Молотов объявил агрессорами Англию и Францию, а Германию — страдающей стороной, защищающейся от «агрессоров». (Менее чем через год, напомним, Германия сокрушила Францию, захватив «попутно» Бельгию, Нидерланды, Норвегию.) Польшу, уже оккупированную Германией (и СССР), Молотов объявил совершенно прогнившей и заслуживавшей ликвидации как государство. Последовали приветственные телеграммы Сталина Гитлеру и т. д. Взбесившись, я записал в своем дневнике резкое осуждение договора, речь Молотова назвал насквозь софистической и, слава богу, ничего не писал о Сталине. В дальнейшем я продолжал дневник, мало уже касаясь политики, забыв о записи сентября 39-го. Когда в следующем году нас перебрасывали из общежития на Усачевке в общежитие на Стромынке, я забыл дневник, а его нашел один мой сокурсник по истфаку и сдал в комитет комсомола. Я был очень удивлен, когда где-то в сентябре-октябре 1940 г. меня вызвали в комитет комсомо-

ла и члены комитета стали расспрашивать меня о моих взглядах на международную ситуацию и т. п. Я отвечал вполне правильно, в духе официальной линии, пока Семен не сказал: «Хватит с ним играть». А вот что ты писал в дневнике в прошлом году?» Я вспомнил ту роковую запись, растерялся и что-то лепетал, а комитетчики разоблачали меня, оттачивая свое партийно-комсомольское оружие. Обсуждение закончилось страшной для меня резолюцией: «За двурушничество и осуждение последних мероприятий партии во внешней политике исключить из комсомола».

Хотя «двурушничество» было закономерным явлением и следствием навязанной официальной идеологии и носило, в сущности, массовый характер, я глубоко переживал свое моральное падение, ибо говорил (например, на избирательном участке) не то, что писал в дневнике. Минимально мне грозило исключение из института, но я надеялся (конечно, тщетно) вернуться на исторический факультет. Не один месяц меня воспитывали в райкоме комсомола, был выделен специальный инструктор, и я, конечно, полностью прозрел и выразил сожаление о необдуманной и легкомысленной записи в дневнике. Однако дело мое все равно было передано в горком ВЛКСМ, а там первый секретарь, заглянув в мой дневник, сказал: «Э-э, да у тебя нутро гнилое!» — и исключил меня из комсомола. Это была уже весна. И месяца через два-три началась война.

Ненависть к фашизму была столь велика, что множество студентов МИФЛИ через день-другой после речи Молотова, объявившего об агрессии Германии против СССР, бросились в наш военкомат записываться добровольцами. Я тоже был среди них. Призывались отдельными группами и направлялись на различные службы. Немало студентов стали «чекистами», задача которых состояла в охране подмосковных военных и хозяйственных объектов и борьбе с возможными немецкими парашютистами. Из философов моего курса здесь оказались Ю. Карпов, его жена А. Серцова, Н. Сенин, О. Яхот. Более значительная группа во главе с С. Микулинским отправилась под Смоленск воздвигать различные препятствия, помогая прибывавшим туда войскам задерживать наступавшие немецко-фашистские силы. Военная ситуация, как теперь многократно описано и изображено в ряде фильмов, развивалась столь быстро, что из «строителей» стали отбирать в солдаты — по здоровью и политическим факторам, направляя их в воинские части. Например, Ф. Кессиди, рвавшемуся туда, не оказали «доверия», как греку, и бедный Феохар вынужден

был вернуться в Москву и оттуда отправиться в родной Тбилиси, так и оставшись вне армии. Самые надежные стали солдатами с различной военной судьбой. Некоторые, как Келле, пройдя госпиталь, вернулись еще в 1944 г. в университет. Немало было и погибших. Едва ли не печальнее стала участь тех, кто оказался в плену и вернулся после него на учебу. Окончить факультет им, как А. Арзаканяну и С. Анисимову (он, раненый, попал в плен уже под Сталинградом), им удалось, но, имея дипломы об окончании факультета, несколько лет они не могли устроиться ни на какую работу. Оказался в плену и С. Микулинский. Как-то ему удалось скрыть свою партийность и, будучи евреем, представиться то ли русским, то ли украинцем. Попав после войны в фильтрационный лагерь, он был отпущен из него по ходатайству ряда бывших студентов МИФЛИ, справедливо напомнивших партийным органам о его активнейшей роли вузовского секретаря комсомола в МИФЛИ. Вернувшись в университет, Семен стал именоваться не Руфимовичем, а Романовичем и занялся историей биологии.

Другая группа студентов МИФЛИ, в которую включили и меня, была отправлена где-то уже в конце июля в Бронницы (сравнительно недалеко от Москвы) в 139-й запасный зенитный артиллерийский полк. До конца сентября мы осваивали зенитные орудия и были переброшены в Москву. Но в октябре, как известно, немецкие армии подошли уже к дальним подступам Москвы. Из зенитных орудий был сформирован 694-й противотанковый истребительный полк, в различные батареи которого вчерашние курсанты отправились в качестве командиров орудий. Я тоже стал одним из командиров третьей батареи. Уже 12 октября полк в составе 16-й армии К. Рокоссовского дислоцировался под Волоколамском. Более месяца, когда немцы готовили свое завершающее наступление на Москву (операция «Тайфун»), мы стреляли по их самолетам и осваивали противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью («коктейль Молотова»). Тяжелый бой с танками, которых сопровождали автоматчики, полк и наша батарея приняли 17 ноября в начале той немецкой операции. Этот бой не раз был описан в печати (впервые в «Вечерней Москве» 26 сентября 1966) и транслирован по телевидению. Я был награжден орденом Боевого Красного Знамени, ифлиец, наводчик последнего неподбитого орудия батареи Ефим Дыскин стал Героем Советского Союза. В дальнейшем в том же полку и в той же должности командира уже иного противотанкового орудия на юго-западном фронте я участвовал в отражении танковой атаки и был награжден медалью

«За отвагу», но на следующий день в августе 1942 г. при минометном налете был тяжело ранен в бедро.

После операции в госпитале где-то за Волгой меня отправили на долечивание в Москву, где я оказался к началу 1943 г. и явился на философский факультет уже МГУ, где одна группа 4-го курса продолжала учебу с начала февраля 1942 г., когда немецкие войска отогнали от Москвы. За несколько месяцев я сдал оставшиеся предметы философского факультета и пять государственных экзаменов: диамат, истмат, историю философии, политическую экономию, историю ВКП(б). Дипломных работ тогда, как и в несколько последующих лет, не было. О профессорах и преподавателях факультета буду говорить в дальнейшем. Получив статус нестроевика, в октябре того же 1943 г. я поступил в аспирантуру кафедры истории философии, которую возглавлял Б. С. Чернышев. В 1944 г. она стала именоваться кафедрой истории западноевропейской философии, поскольку в том же году появилась кафедра истории русской философии.

* * *

Аспирантское, и тем более последующее, погружение в философию, как и расширение восприятия и осмысления конкретной жизни во множестве ее аспектов, естественно, открывало всё новые горизонты социальной действительности и философской жизни. Специфичность духовной атмосферы советских времен, как ни в одну другую эпоху, заключалась в тесном переплетении политических и идеологических факторов, в зависимости от которых вспоминались и выявлялись те или иные философские идеи.

Они были утрачены, забыты в армейские времена, но в еще большей мере — в результате давления идеологии, которая в первую очередь требовалась и на экзаменах, и еще более на госэкзаменах. Всякая идеология, даже религиозная (в особенности сугубо монотеистическая, как христианство) в определенной степени взывает к тем или иным философским идеям, вырываемым из системного интеллектуального контекста. Изгнание Лениным группы выдающихся философов, которых он считал антимарксистами (что было, конечно, верно, и сами они этого не скрывали), идеалистами и, следовательно, представителями «поповщины», террористическое гонение на служителей церкви, повседневная антирелигиозная пропаганда требовали новой духовной пищи для масс. Мавзолеизация мумии Ленина

создавала новый культ, призванный разрушить религиозные, одновременно стремясь к максимизации роли марксистской идеологии.

Сам Ленин, как известно, слепо верил в марксизм, весьма схематично его понимая и вырывая из него те положения, в которых видел необходимость для учреждения социализма в экономически и социально отсталой стране: захват власти через революцию, беспощадное проведение так называемой диктатуры пролетариата, опора на высокоцентрализованную партию и т. п. Еще в «Материализме или эмпириокритицизме» Ильин-Ульянов противопоставил «научную идеологию» гносеологии эмпириокритиков как ведущую к фидеизму и «поповщине». Уже после смерти автора этого компилятивного опуса, написавшего множество статей и теперь увековеченного, его последователи из партийных верхов провозгласили усопшего вождя творческим продолжателем уже давних «основоположников», утвердили другого идеологического кентавра — «марксизм-ленинизм», новацией которого стала «мировая революция». Идеино-политическая борьба между «диадохами», объявленными через полузакрытые суды «врагами народа» и расстрелянными, закончилась полным торжеством единственного вождя и «отца народов» Сталина. После его смерти продолжалась политически менее значимая борьба между эпигонами. Их определяющей идеологической задачей стала «борьба за чистоту марксизма-ленинизма» с любыми от него, как и от «генеральной линии партии», отклонениями. Наше поколение, в основном рожденное после Октября, идеологически и политически служило и писало, уже так или иначе общаясь с ними.

Марксистско-ленинская идеология, стремившаяся полностью преодолеть религиозные вероисповедания, писаниями и речами своих эпигонов (теперь среди них было множество вузовских и академических деятелей) непрерывно «разоблачая» всякого рода идеализм, провозгласила ленинский этап в философии как единственно правильный и убедительный. Этот «этап» содержал немало утверждений и положений, которые повторялись, а то и просто мусолились многими эпигонами, но иногда и честными авторами и преподавателями, стремившимися прояснить их «рациональное ядро». Здесь мы не будем на них останавливаться, но вспомним о них в дальнейшем в конкретных контекстах.

Дальнейшая последовательно тотальная трансформация философии в идеологию, ориентированная на широкие круги пропагандистов, которые были обязаны доносить ее до более широких масс, как

и на учащихся вузов, во времена, когда И. В. Сталин, ставший четвертым «классиком», объявил победу социализма в СССР, определялась его очерком «О диалектическом и историческом материализме», вошедшим в «Краткий курс истории ВКП(б)» (1938), рассчитанным на самые широкие круги. Отдавая должное этому очерку, следует отметить догматическую ясность его текста, доступного вполне грамотному человеку. Замена «законов» диалектики на «черты» способствовала трансформации философии в идеологию. Часть, излагающая черты диалектического материализма, на добрую половину состоит из цитат, взятых из произведений Энгельса, Маркса, Ленина. Настаивая на том, что исторический материализм является распространением положений диалектического материализма на истолкование общественной жизни (более резко, чем три его предшественника), Сталин именно ей отдает большую часть текста, подчеркивая при этом те выводы, которые необходимы для общественно-политической жизни. Главный из них — преимущество построенного в СССР социализма перед капиталистическими странами, переживающими безнадежный кризис и т. п.

У нас в довоенные и послевоенные годы было распространено мнение, что ясность и связность диалектико-истматовского текста сталинского очерка следует объяснить тем, что в действительности он написан философом Яном Стэном, автором статьи «Философия» в «Большой советской энциклопедии», подписанной М. Б. Митиным в связи с расстрелом Стэна как «врага народа». Мне случайно прояснила это недоразумение вдова Стэна, освободившаяся из концлагеря и посетившая где-то в 1960-е гг. нашу кафедру истории философии для общения с проф. В. Ф. Асмусом (они были знакомы в довоенные времена). Я тоже познакомился с ней, и по дороге в Институт философии она немало рассказала мне о характере отношений между Стэном и Сталиным. В это семейство смелый и прямолинейный философ был действительно вхож, но лишь в качестве приятеля Н. Я. Аллилуевой, жены вождя. Бывал свидетелем напряженных отношений между супругами («Надя, подай спички» — «Видишь, Ян, делает доклад о политической роли женщины, а дома такой»). С самим же вождем Стэн вступал иногда в яростные споры, нередко заявляя ему: «Ты эмпирик, Коба». А жене Стэн говаривал (с уверенностью можно сказать, что не только ей): «Эта рябая сука устроит нам и процесс Дрейфуса, и дело Бейлиса».

В те годы «диадок» Сталин, ставший «отцом народов» огромной империи, довел до кульминации «диктатуру пролетариата»,

реализованную судами над «врагами народа», арестами и расстрелами 1936–1938 гг. Философия, заимствованная, как ясно из рассмотренного выше «Очерка», у «основоположников», Сталина, в сущности, не интересовала, но он подверг ее сугубой идеологизации и политизации, как сказано выше. Политический прагматизм Сталина оперировал военными образами. Например, в 1920-е гг. происходила довольно оживленная полемика между «механистами» (Скворцов-Степанов, Тимирязев, Аксельрод-Ортодокс) и «диалектиками» (Деборин, Карев, Стэн). Сначала были побеждены «механисты» как антидиалектические упрощенцы, и торжествовали «диалектики». Но и они не привлекли Сталина своей, как он считал, бесплодной схоластикой. Против них генсек мобилизовал группу молодых философов, эпигонов во главе с М. Б. Митиным и П. Ф. Юдиным. Политической сутью «механистов» был объявлен «правый уклон» (Бухарин, Рыков, Томский). «Диалектикам» сам вождь дал совершенно «точную» квалификацию — «меньшевиствующий идеализм», выразивший «левый уклон» (Троцкий, Зиновьев, Каменев).

Задачей «философии» становилась теперь «борьба на два фронта». Из «диалектиков» были арестованы и расстреляны виднейшие сторонники Деборина — Карев и Стэн. Активнейшее участие в ней стали принимать и другие эпигоны. Многие из них получали философское образование и политическую закалку в Институте красной профессуры, революционный цвет которого гарантировал высокое качество в обоих этих направлениях. Были там и лекции, и семинары, правда, никаких диссертаций они не писали, но выпускники всё же получали звания профессоров. Митин и Юдин с подачи Сталина в 1939 г. стали членами Академии наук СССР. Существовала еще Академия коммунистического воспитания, несколько меньшей значимости.

Партийные чистки, аресты и расстрелы 1936–1938 гг. опустошили партийный аппарат, и для эпигонов открылись соответствующие возможности. Среди них тоже развивалась тайная и явная борьба за различные должности «наверху», включая и академические, переплетавшиеся с партийными. В этих интересах писались статьи, брошюры, трактовавшие мысли «классиков».

Вернувшись на факультет в 1943 г., я узнал о двух новых профессорах — Алексее Федоровиче Лосеве и Павле Сергеевиче Попове, которых я совершенно не знал, но впоследствии для меня многое прояснилось. Оказалось, что они появились на факультете благодаря Георгию Федоровичу Александрову, о котором я говорил выше.

В 1940–1950-е гг. он сыграл немаловажную роль в философско-идеологической советской жизни, и я теперь вернусь к нему.

В аппарате ЦК ВКП(б) Александров сделал большую карьеру. Сталин провел его и в кандидаты ЦК, и, более того, вопреки уставу этого всеильного органа сделал его и членом Оргбюро (в принципе туда вводились только члены ЦК). Главным идеологом партии был А. А. Жданов, член Политбюро и одновременно первый секретарь Ленинградского горкома ВКП(б). Здесь в преддверии войны и должен был сосредоточиться преемник С. М. Кирова. Говорили, что он рекомендовал Сталину назначить Александрова начальником управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), что и произошло. Он стал теперь большой партийной фигурой, особенно в условиях войны, когда и члены Политбюро, и множество членов ЦК были втянуты в повседневные требования войны. Когда МИФЛИ в эвакуации оказался в Ашхабаде, его руководство (по-видимому И. С. Галкин, декан истфака МИФЛИ и ректор МГУ, когда он снова прибыл в Москву в 1943–1946 г.) обратилось к члену Оргбюро с вопросом, как им быть в эвакуации. Он распорядился влиться в МГУ им. М. В. Ломоносова, что там и произошло. Так здесь появились философский, филологический и экономический факультеты, а исторические слились.

Занятия на философском факультете в Москве начались в феврале 1942 г., когда немецкие войска были отогнаны довольно далеко. Преподавателей на нем (и на его отделении психологии) было крайне мало, но и студентов едва ли более трех десятков. Профессоров-философов тоже три-четыре (Б. С. Чернышев, З. Я. Белецкий, Г. М. Гак и, кажется, А. П. Гагарин). На отделении психологии примерно столько же. Тогдашний декан факультета Г. Г. Андреев, будучи в отделе пропаганды ЦК, говорил с Александровым о немногочисленности профессоров на факультете, особенно в перспективе умножения студентов, демобилизирующихся из армии по ранению, по болезни, не успевших окончить факультет до начала войны. Александров знал о Лосеве и Попове как об ученых с дореволюционным образованием, окончивших Московский университет, знал и об их тяжелых конфликтах с ГПУ в прошлом (о чем напишу в дальнейшем). Как политик, учитывающий некоторую идеологическую оттепель, кратковременно наступившую в результате неожиданных огромных поражений на фронте в первый период войны, а также речь Сталина на историческом параде 7 ноября 1941 г., содержащую патриотическую тематику, Александров «выразил мнение»